

DOI 10.25991/AE.2019.87.20.003
УДК 821.161.1.09

Богданова О. В., Оляндэр Л. К.

Богданова Ольга Владимировна — доктор филологических наук, профессор, Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ)

olgabogdanova03@mail.ru

Оляндэр Луиза Константиновна — доктор филологических наук, профессор, Восточноевропейский национальный университет имени Леси Украинки (Луцк, Украина)

olk32@ukr.net

ТОЛСТОЙ: ВОЙНА И МИР / ГОРЬКИЙ: МИР И ВОЙНА КАК ДВА ЭТАПА РУССКОЙ МЫСЛИ*

В статье дается сопоставление романов «Война и мир» Л. Толстого и «Жизнь Клима Самгина» М. Горького и прослеживается, с одной стороны, вхождение войны в мир, ее след на всех сторонах человеческой жизни: на миропонимании, поступках и судьбе индивидуума в художественном целом; с другой стороны, осмысляется процесс вызревания войны в условиях мирного существования, обычной людской жизни. При сопоставлении толстовского и горьковского романов внимание сосредоточивается на ментально-нравственной стороне жизни героев, на формировании мышления войной и мышления революцией.

Ключевые слова: М. Горький, Л. Толстой, мотивная система, претекст и интертекст, синергетика

O. V. Bogdanova, L. K. Oliander

TOLSTOY: WAR AND PEACE / GORKY: PEACE AND WAR AS TWO STAGES OF RUSSIAN THOUGHT

In the article, when comparing the novels “War and Peace” by L. Tolstoy and “Life of Klim Samgin” by M. Gorky, on the one hand, the entry of war into the world, its trace on all sides of human life: on the worldview, actions and destiny of the individual, and also the country in general; on the other hand, the maturation of war in peaceful conditions are shown. In the article attention is focused on the mental and moral side of life, on forming war thinking and revolution thinking.

Keywords: M. Gorky, L. Tolstoy, motive system, pretext, intertext, synergetics

Актуальность темы «Толстой: война и мир / Горький: мир и война как два этапа русской мысли» обусловлена не только неугасающим интересом к художественным достижениям великих писателей, но и всей нынешней ситуацией, которая заострила процессы осмысления двух эпохальных событий — войны 1812 г. и Первой мировой — событий, отразившихся на судьбах России и мира. Именно об этом свидетельствуют научные изыскания современных историков. В частности, И. А. Шейн в диссертации «Отечественная война 1812 года: Историографическое исследование» (2002) пишет: «Наглядность уроков и выводов, вытекавших из Отечественной войны 1812 года, заставляла и заставляет различные политические силы и научные круги обращаться к этой теме. Подобный интерес во многом определялся не только научными, но и практическими потребностями развития общества. Международная обстановка в мире и внутривнутриполитическая ситуация в стране закономерно побуждали общественность и политиков к проведению исторических параллелей, а историков к написанию новых научных трудов. Такая закономерность сохранила свою устойчивость и в современных условиях» [10].

На том же настаивает И. Б. Белова в диссертации «Первая мировая война и российская провинция: 1914 — февраль 1917 гг.: по материалам Калужской

и Орловской губерний» (2007): «...последнее десятилетие XX века, — пишет исследовательница, — было отмечено повышением внимания отечественных исследователей к истории Первой мировой войны. Возросшее стремление исследователей к реконструкции и новому осмыслению событий, как оказалось, “неизвестной” войны, непосредственно предшествовавших революционным потрясениям 1917 г., в значительной степени обусловлено появившейся возможностью объективного всестороннего изучения указанного периода. Многие проблемы <...> актуальны и в настоящее время» [2].

Выбор произведений Л. Толстого и М. Горького не произволен: взятые в смысловое единство романы «“Война и мир” (1863–1869) — “Жизнь Клима Самгина” (1925–1936) являются — пусть отдаленными — звеньями одной цепи и, говоря словами Б. Эйхенбаума, стоят на крайних точках исторического процесса. Ведь не случайно же В. С. Воронин заострил внимание на том, что В. И. Ленин назвал Брестский мир “нашим Тильзитским миром»» [3, с. 805]. Этими романами окантовывается созданный самой историей сюжет жизни не только России, но и Европы.

Роман Л. Толстого о 1812 г. — это завязка, ибо он находится у истоков тех конфликтов, которые, развиваясь как следствие Французской революции

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект «Максим Горький как мировое явление. Роль Горького в литературе, критике, публицистике, политике, культуре и искусстве, театре, кино, современной инфосфере» № 18–012–00158.

1789–1790-х гг., приведут к Первой мировой войне 1914–1918 г. и, достигнув в ней апогея, разразятся в 1917-м русской революцией. Поэтому роман М. Горького предстает одновременно и трагической развязкой противоречий, возникших в начатой наполеоновскими войнами эпохи, а предполагаемо «завершенный» сценой приезда В. И. Ленина на Финляндский вокзал, — завязкой новой. И это не просто линейное развитие темы, а ее развитие через перевертыш: если у Толстого война входит в мир, то у Горького мир своими неразрешенными конфликтами переходит в войну.

Кроме того, оба романа — особое и необходимое художественно-философское познание мира, а через это и осмысление, переданное способом моделирования действительности, что создает для реципиента эффект его присутствия в описанном происходящем и дает возможность находить в нем ответы на запросы нынешнего дня. Но говоря это, не следует забывать и то, что восприятие события, развивающегося в той или иной эпохе, не совпадает с его восприятиями во времена последующие.

Цель статьи состоит в том, чтобы, взяв за великий гипертекст романы «Война и мир» Л. Толстого и «Жизнь Клима Самгина» М. Горького, проследить через поэтику вхождение войны в мир, осмысляя ее след во всех сферах человеческой жизни; и прояснить процессы вызревания войны в мирных условиях, раскрывая порождаемые этими текстами интенции. При этом, на наш взгляд, немаловажно подчеркнуть одну особенность, что рядоположение текстов Толстого и Горького через имеющиеся в них коды — слова, образы, сцены — раздвигает со временем рамки метатекстового уровня за счет приобретения им нового исторического опыта и запросов его времени, что способствует обнаружению ранее незамеченных или недостаточно актуализованных смыслов.

Предостерегая от вольных домыслов романа, Толстой счел необходимым подчеркнуть свою сосредоточенность на внутреннем мире человека: «В те времена, — писал он, — так же любили, завидовали, искали истины, добродетели, увлекались страстями; та же была сложная умственно-нравственная жизнь, даже иногда более утонченная, чем теперь, в высшем сословии» [7, т. 7, с. 356].

Все так, однако такая сосредоточенность Толстого не исключала его интереса к иным сторонам проявления жизни, в т. ч. и к миру-Вселенной, к способности мира опрокинуть прежнее миропонимание, перевернуть человеческую душу. Доказательством служит многократно повторяющееся почти в одних и тех же словах описание видения и дум раненного под Аустерлицем, истекающего кровью на Проценской горе князя Андрея Болконского, — важнейший фрагмент романа, ибо в нем фокусируется вечный философский вопрос о смысле жизни, об истинных и ложных человеческих ценностях. Так активизируется и мышление современного реципиента, осуществляется перманентное постижение им духовных

поисков самого Толстого, а также и широких пластов русской философской мысли, с учетом ракурсов, акцентированных А. А. Ермичевым в докладе «К оценке Белинского в истории русской культуры и его эстетико-литературные позиции» (2011) [5]. Эпизод из жизни Болконского — как факт биографический — детально проанализирован в литературоведении. Но он понуждает вновь обратиться к нему, к архетипному образу неба. Корни этого архетипа, уходя вглубь веков — в библейские и добиблейские времена, — дают всходы в мыслях великих философов, в т. ч. и П. Я. Чаадаева (1794–1856), сказавшего в статье «Апология сумасшедшего»: «Прекрасная вещь — любовь к отечеству, но есть еще нечто более прекрасное — это любовь к истине. Любовь к отечеству рождает героев, любовь к истине создает мудрецов, благодетелей человечества. Любовь к родине разделяет народы, питает национальную ненависть и подчас одевает землю в траур; любовь к истине распространяет свет знания, создает духовные наслаждения, приближает людей к Божеству. Не через родину, а через истину ведет путь на небо. Правда, мы, русские, всегда мало интересовались тем, что — истина и что — ложь» [8]. Великий философ не дожил до времени, когда на страницах «Войны и мира» будет описано, как перед князем Андреем — откроется истина: «...он упал на спину. Он раскрыл глаза... <...> Но он ничего не видел» [7, т. 4, с. 380]. Однако специфика толстовского дискурса направляет к философской мысли Чаадаева, и наоборот, Чаадаев «дает» толчок к новым интенциям.

Анализ фрагмента позволяет определить стилизирующее мысль реципиента значение таких неконкретностей, как ничего, совсем не так, как мы, неконкретностей, дающих возможность и на метатекстовом уровне наполнить их тем новым историческим опытом — включая и пережитое в двух мировых войнах, — которого не было ни у князя Андрея, ни у самого Толстого.

Сцена под Аустерлицем говорит о том, что на границе жизни и смерти князь Андрей пережил катарсис, когда перед ним раскрылась безграничность бездны: «Как же я не видал прежде этого высокого неба? И как я счастлив, что узнал его наконец. Да! Всё пустое, всё обман, кроме этого бесконечного неба. Ничего, ничего нет, кроме его. Но и того даже нет, ничего нет, кроме тишины, успокоения. И слава Богу!...» [7, т. 4, с. 380].

И этим понятием: «Ничего, ничего нет...», т. е. ничто — Л. Толстой дискуссионно (его героев ничто не поглощало) включает в круг современной философии от М. Хайдеггера, на которого, как известно, русский писатель оказал большое влияние, К. Ясперса до Н. А. Бердяева, А. Н. Чанышева, С. Н. Розова и др. Не случайно его считают — и совершенно обоснованно — предшественником экзистенциализма. И современный реципиент, сопереживая князю Андрею, перед этим ничто не только чувствует, «сколь ничтожны мечты» его «о своем Тулоне». Он

размышляет о ценности самой жизни и о роли «ценностного сознания как новой формы мировоззрения».

Следующий этап в горячечных мыслях покидающего жизнь человека говорит о кризисном хронотопе, хронотопе порога, «когда время... является мгновением» [1, с. 231], в котором осуществляется перелом сознания князя Андрея, т. е. о внезапном — вдруг! — прозрении и страхе утратить его: «Вдруг он опять почувствовал себя живым и страдающим от жгучей и разрывающей что-то боли в голове. “Где оно, это высокое небо, которого я не знал до сих пор и увидел нынче? — было первой его мыслью. — И страдания этого я не знал до сих пор. Но где я? <...> Он раскрыл глаза. Над ним было опять все то же высокое небо с еще выше поднявшимися плывущими облаками, сквозь которые виднелась синеватая бесконечность» [7, т. 4, с. 393].

Небо, представляющее собой бесконечность, изменяло масштабы: оно становилось все выше, а великий Наполеон все меньше и ничтожнее. Князь Андрей «...чувствовал, что он исходит кровью, и он видел над собой далекое, высокое и вечное небо. Он знал, что это был Наполеон — его герой, но в эту минуту Наполеон казался ему столь маленьким, ничтожным человеком в сравнении с тем, что происходило теперь между его душой и этим высоким, бесконечным небом с бегущими по нем облаками» [7, т. 4, с. 394].

В композиции этого фрагмента смыслообразующую роль играет взаимодействие внутреннего пространства души с внешним — высоким и бесконечным пространством: «Ему так ничтожны казались в эту минуту все интересы, занимавшие Наполеона, так мелочен казался ему сам герой его, с этим тщеславием и радостью победы, в сравнении с тем высоким, справедливым и добрым небом, которое он видел и понял, — что не мог отвечать ему. <...> Глядя в глаза Наполеону, князь Андрей думал о ничтожности величия, о ничтожности жизни, которой никто не мог понять значения, и о еще большем ничтожности смерти, смысл которой никто не мог понять и объяснить из живущих» [7, т. 4, с. 394].

В этих пространствах, которые вмещали и мысль семейную, казалось, не было места Наполеону. Наполеон — тоже вдруг! — явился и предстал символом зла, символом разрушения естественного счастья и естественного хода жизни. Ведь тихая жизнь и семья здесь — это не просто идиллия, но необходимое условие для непосредственного продолжения и обновления самой жизни... Но семья значима для человека и в становлении его как личности, в том, чтобы в последующем своем бытии он, выражаясь словами К. Маркса, мог «быть многим». Кстати, эта проблема стоит и у М. Горького, когда речь идет о воспитании Климки. Но на деле стоит лишь ворваться в жизнь постороннему — маленькому Наполеону — взятому как образ / символ, — и привнесенные им антиценности направляют человека по ложному пути, что и осознает князь Ан-

дрей на пограничьи жизни и смерти — в состоянии, в котором он находился дважды. Толстой с необычной смелостью коснется этого момента, что будет отмечено К. Леонтьевым (1831–1891) в статье «О романах гр. Л. Н. Толстого. Анализ, стиль и веяние» [6, с. 63–64]. Леонтьев, указав на правдоподобие в описании этой межи, когда умирал князь Андрей после Бородинской битвы: «Ни одной фальшивой ноты, ни одной натяжки, ни тени преувеличения, или того, что зовут “ходульностью”» [6, с. 63], — как врач усомнился в правдоподобии хода мыслей раненого под Аустерлицем в голову князя Андрея. «...несмотря на всю высокую поэзию этого места, — пишет К. Леонтьев, — вся психология его представляется мне не столько состоянием самого раненого кн. Болконского, сколько состоянием автора, силящегося вообразить себя в его положении и воспользоваться случаем, чтобы еще лишний раз осудить великое и сверхчеловеческое учреждение войны» [6, с. 63].

Не сомневаясь в правоте Леонтьева, должно помнить, что Толстому важно не физиологическое правдоподобие — у него есть даже парадоксальные случаи такого нарушения, — а та правда, которая может быть раскрыта, когда вся суэта земная теряет смысл и встает вопрос: зачем жил? И это важнейший вопрос, лежащий и в основе горьковского романа. Однако в XX в., после двух мировых войн произошло — и не без участия создания «своего Наполеона», чего опасался Клим Самгин [4, с. 381] — беспрецедентное обесценивание всех общечеловеческих ценностей, в т. ч. и самой жизни. И сцена под Аустерлицем направляет размышления реципиента к нынешнему дню, к характеру его антиценностей, а метатекстовый уровень романа «Войны и мира» расширяется за счет нового трагического опыта современного человека.

Это дает право воспринять мир у Толстого многоаспектно, т. е. мир как время без войны, но в который входила и вошла война, мир, в котором формируется мышление войной. И о войне у Толстого идет речь, хотя и аспект мира, в котором она зрела и нависала как неизбежность над ним, широко представлен, отразившись в мыслях и поступках героев романа. Заголовок уже заставлял предчувствовать, что война явится фактором, определяющим судьбу Европы, России, жизнь и судьбу всех и каждого в этом обновленном мире, прошедшем через трагическое испытание. Забегая вперед, надо отметить, что освободительная война 1812 г. — в отличие от Первой мировой — не только не поколебала общечеловеческих нравственных ценностей, но напротив придала им еще большей содержательности, что и покажут сложившийся характер, поступки и сама жизнь Наташи Ростовой, а затем подтвердится главой из неосуществленного писателем романа «Декабристы» (1860–1861), где повествуется о возвращении Пьера и Наташи из ссылки.

Надо сказать, что неожиданно энергичное начало «Войны и мира» — как в драме — с диалога

демонстрировало парадоксальность ситуации: в размеренную жизнь людей внезапно входила ожидаемая война. Однако «Война и мир» начинается без вступлений, а сразу с действия, вернее, со сцены из обычной и, казалось бы, устоявшейся жизни высшего светского общества. Идя таким путем, Толстой решает сразу несколько задач. Во-первых, он создает эффект присутствия читателя, который, вроде бы тоже, входя в гостиную, все видит и слышит, как Анна Павловна Шерер, «фрейлина и приближенная императрицы Марии Федоровны», говорит, «встречая важного и чиновного князя Василия»: «Ну, князь. Генуя и Лукка — поместья фамилии Бонапарте. Нет, я вам вперед говорю, если вы мне не скажете, что у нас война, если вы еще позволите себе защищать все гадости, все ужасы этого Антихриста (право я верю, что он Антихрист) — я вас больше не знаю, вы уж не друг мой, вы уж не мой верный раб, как говорите [7, т. 4, с. 7]. Во-вторых, постоянно предоставляя Анне Павловне слово, писатель одновременно характеризует и ее психологический склад, и суть эпохального конфликта, всю напряженность исторического времени, в которое происходит вечер, избегая публицистичности (Надо сказать, что такой прием широко использовал и М. Горький, особенно в речи Дронова). Но пока слово *la guerre* (война) лишь прозвучало, и, произнося его, князь Василий думал об устройстве служебной карьеры своего сына Анатоля, Анна Михайловна Друбецкая — Бориса. Иными словами, пока обычная — и не только их — жизнь с ее заботами действительно отдалена от войны. И лишь княгиня Болконская искренне, но сдержанно-тревожно скажет: «Вы знаете, мой муж покидает меня. Идет на смерть. Скажите, зачем эта гадкая война» [7, т. 4, с. 15].

Частотность слова война в тексте о мирной жизни велика: все говорило, что это — *не* мир, а перемирие, в котором зрели и война, и мышление войной. «Жизнь между тем, — пишет Толстой, — настоящая жизнь людей, с своими существенными интересами <...> шла, как и всегда, независимо и вне политической близости или вражды с Наполеоном Бонапарте, и вне возможных преобразований» [7, т. 5, с. 170].

Однако весь текст романа говорит об относительности такой независимости. Война и ее ожидание в разной степени присутствовали в сознании людей. Но с особенной очевидностью у князя Андрея. Прозревший под Аустерлицем, он после своего возвращения занят, возможно, не только вопросами онтологического характера, но и практического, теми, которые ставила перед ним «настоящая жизнь». Отказавшись под действием прозрения от военной службы и участия в войне, князь Андрей, не ограничиваясь помощью своему деятельному отцу в организации ополчения, предпринимает решительные шаги к реорганизации армии и подает записку графу Аракчееву о реформировании армии. Значит, он не только думал о приближающейся войне, которая придет и разрушит естественный ход

«настоящей жизни людей», но и предпринимал конкретные действия. А это уже мышление войной. Немаловажно и то, что в нарративной системе романа акцентируется парадоксальность ситуации: ключевые позиции в государстве занимают антиподы по мировоззрению и, как его следствие, практической деятельности — государственный секретарь граф М. М. Сперанский и военный министр А. А. Аракчеев. Все это маркировало тот кризис внутри страны, который обострился после войны 1812 г., вызванной общеевропейским кризисом. Суть же все более обостряющегося внутреннего кризиса обозначается Толстым в одном из эпизодов, завершающих роман, — в беседе Пьера Безухова, разделявшего идеи декабризма, с Николаем Ростовым, уже помещиком в Лысых горах. И тут Толстой ясно продемонстрировал наличие противостояния в обществе, где атмосфера накалилась до крайних пределов: «... вот-вот лопнет эта натянутая струна: когда все ждут переворота, — говорит Петр, сетуя на то, что «независимых людей... совсем не остается» [7, т. 7, с. 317–318]. Сложилась ситуация, в которой каждый из героев, стоящий перед судьбоносным — не только для себя — выбором, этот выбор уже для себя сделал, и он ясно очертил границу разрыва между двумя близкими людьми.

Вот что говорит Николай Ростов Пьеру: «...я тебе скажу: что ты лучший мой друг, ты это знаешь, но, составь вы тайное общество, начни вы противодействовать правительству, какое бы оно ни было, я знаю, что мой долг повиноваться ему. И вели мне сейчас Аракчеев идти на вас с эскадроном и рубить — ни на секунду не задумаюсь и пойду. А ты суди, как хочешь» [7, т. 7, с. 319].

При заключительных словах: «рубить... не задумаюсь и пойду», невольно в мыслях возникшее евангельское изречение: «Предаст же брат брата на смерть, и отец — сына; и восстанут дети на родителей, и умертвят их» (Матф. 10: 21)), — вызывает много- и разновекторные интенции, активизируя в сознании целые пласты истории и диалогические отношения между не только концепциями исторических деятелей, но и писателей, диалог между множеством произведений. Речь идет прежде всего о таких соотношениях, как Л. Толстой — М. Горький.

Признание Николая Ростова у Толстого, рядом с романом Горького «Жизнь Клима Самгина» и его «Несовременными мыслями», не только служит познанию миропонимания писателей, освоению опыта минувших эпох, но и предстает как предупреждение. Прочтение их, говоря словами историка А. Шеина, определяется не только научными, но и практическими потребностями развития общества. Однако, на наш взгляд, целесообразно осмысливать период истории от Наполеоновских войн до эпохи Первой мировой войны включительно в трех ракурсах — в ракурсе историческом, философском и художественно-философском.

Возвращаясь к роману «Война и мир» и сосредоточившись на деятельности Андрея Болконского

между 1805 и 1812 гг., необходимо отметить, что он в процессе жизнотворчества осуществил решительный шаг к декабризму и дозволил своим крестьянам хозяйствовать свободно, что вызывало удивление и недовольство. Но, как говорит текст «Войны и мира», князь действовал в рамках косметического законодательства, а его окружение придерживалось крепостнического порядка. Всю сложившуюся социально-политическую атмосферу Толстой передает и опосредованно. Так, в связи с именем М. Сперанского в подтексте возникают его записка «Ещё нечто о свободе и рабстве» и указ «Указ о вольных хлебопашцах» (1803). Ведь не по своему призыву князь Андрей, вызвав осуждение [7, т. 5, с. 135], отпустил крестьян. А в связи с именем А. А. Аракчеева — полицейский режим — аракчеевщина. Но затекстовое содержание отсылает к мировоззрениям и политическим концепциям декабристов и к тому, как эти идеи крепили в войне с Наполеоном. Затекстовое содержание подготавливает и мысль Толстого о свободе и не-свободе личности, о необходимости выбора и ответственности. В войну 1812 г. князь Андрей вступил уже обновленным человеком, который, отрицая войну, шел на нее из необходимости защищать «настоящую жизнь», сына, отца, сестру, свою честь, родину, в конечном смысле — свободу, а потому считал, что битва должна быть беспощадной. Пьер — в отличие от него — находился в процессе своего дальнейшего обновления, осознания себя в этом большом мире. Сцена в плену, в которой он в условиях полной не-свободы — вдруг! — ощутил себя безгранично свободным, потому что душа его бессмертна, в определенном смысле является зеркальной по отношению к сцене под Аустерлицем: Пьер тоже переживает катарсис, додумывает, (до) осмысливает то, что он высказывал князю Андрею перед войной, мысли о своем слиянии с огромным космическим целым. «Ха, ха, ха! — смеялся Пьер. <...> Поймали меня, заперли меня. В плену держат меня. Кого — меня? Меня? Меня — мою бессмертную душу! <...> Пьер взглянул в небо, в глубь уходящих, играющих звезд. “И все это мое, и все это во мне, и все это я! — думал Пьер. — И все это они поймали и посадили в балаган, загороженный досками!”» [7, т. 7, с. 122–123]. Архетипный образ звездного неба здесь уже не соотносится с ничто, напротив — он вызывает образ всеохватывающего единства, которое наполняет смыслом единичную жизнь, позволяя осознать свободу личности, свободу индивидуальной экзистенции.

Однако проблемы онтологического характера не существовали в отрыве от конкретных действий, ведь идеи декабристов, все их противоречивые программы так или иначе были связаны с мыслями о свободе человека. Текст Толстого так или иначе содержит постоянную мысль о декабризме. Сам Толстой — как человек, мыслитель и писатель — был фигурой, связывающей эпоху 1812–1814 гг. с эпохой 1914–1918 гг. Несмотря на наличие эпилога, сцена разговора Пьера с Николаем Ростовым в Лысых

горах [7, т. 7, с. 317–318] открывала вхождение в новую эпоху.

Толстой остро реагировал на конфликты времени, в т. ч. и в статье «Две войны» (1898). Горький перенимает эстафету. И неслучайно он остро полемично вводит тему Толстого в художественную систему своего романа, где будет раскрыто то, о чем говорил Е. Трубецкой: «Русская государственность стала добычей пламени, которое разгорелось в ее же собственных недрах». У Горького много схожего с Толстым, но именно эта схожесть и подчеркнет их различие. Сосредоточившись на внутреннем мире человека в кризисную революционную и предвоенную эпоху, он, как и Толстой, покажет, что и в описываемые им времена люди «так же любили, завидовали, искали истины, добродетели, увлекались страстями; та же была сложная умственно-нравственная жизнь». Но, скорее всего, она более запутана в противоречиях, а значит, и более напряжена. И неслучайно «Жизнь Клима Самгина» — роман идей, в котором имена и писателей, прежде всего Л. Толстого и Ф. Достоевского, и философов, таких, как Ф. Ницше, Н. Бердяев, Л. Шестов и др., становятся кодами, которые необходимо не только расшифровать, но и благодаря этому постараться осмыслить реалии века. И в эту жизнь-реальность придет невиданная по своим масштабам и цинизму война, приведшая к революционным потрясениям, к революции и гражданской войне в России — и как следствие — к кардинальным сдвигам во всем мире.

Интересно, что Горький, как и Толстой, вводит опосредованно образ неба, но взор направлен в противоположную сторону — к земле, к тому, что происходило на ней:

«Ярко светила луна, шелково блестели камни, между камнями извивались, точно стеклянные черви, маленькие ручьи.

“Голубое серебро луны”, — вспомнил Самгин и, замедлив шаг, снисходительно посмотрел на конную фигуру царя в золотом шлеме.

“Это не самая плохая из историй борьбы королей с дворянством. Король и дворянство, — повторил он, ища какой-то аналогии. — Завоевал трон, истребил лучших дворян. Тридцать лет царствовал. Держал в руках судьбу Пушкина”» [4, с. 360].

В этой сцене у современного читателя фразы: «Тридцать лет царствовал. *Держал в руках судьбу Пушкина*», — в подтексте которых актуализирована трагедия поэта, вызывают ассоциации на мета-текстовом уровне, обращая внимание к годам тоталитарного правления И. В. Сталина, деятеля жестокого, но неоднозначного, ко времени массовых репрессий.

К таким раздумьям направляют его рассуждения. «В общем, — пишет Горький, — ему <Климу Самгину> жилось весьма спокойно, уютно, и все, что в различной степени искренно тревожило людей, для него служило средством усиления роста значительности, популярности» [4, с. 361]; «...он чувство-

вал себя в центре всех идей, владыкой их. Он чувствовал, что глупость и пошлость возвышают его и утверждают за ним право не думать о судьбах людей» [4, с. 170] и др.

Выражения «чувствовал себя... владыкой» и «... возвышают его и утверждают за ним право не думать о судьбах людей» говорят о том, что Клим Самгин глядел в Наполеоны. И эта сцена выглядит как перевертыш сцены из «Войны и мира» с тяжелораненым под Аустерлицем князем Андреем.

Исследователи Толстого проходят мимо того момента, когда в разговоре со Сперанским князь Андрей, неприятно почувствовав, что, попадая под влияние, стал бороться с этим, находя основание и в консервативных позициях [7, т. 5, с. 186], несмотря на то что сам придерживался иных взглядов. Очевидно, что Толстой ставил вопрос не только о свободе личности, но и об опасности для нее стать марионеткой другого. Князь Андрей мог быть только в положении на равных. Клим же стремился быть беспощадным интеллектуальным владыкой, и в этом смысле горьковский герой предстал антиподом Болконского. Здесь важно то, что некреативный Клим не мог переносить всякого, кто превосходил его. Получив возможность распоряжаться судьбами, этот тип людей становится опасным: серость агрессивна.

На первый взгляд может показаться, что в горьковском романе Первая мировая возникает почти на маргинесах. Но это не так, потому что по сути своей она явилась в тексте кульминационной точкой. Так же, как и в «Войне и мире», в ходе обычной жизни, в разговорах — вдруг! — возникает, внося тревогу, слово война. И уже само появление его в различных ситуациях, в устах разных людей усиливало и ее ожидаемость, и широкие расхождения: «... Тагильский угрожал войной с Германией» [4, с. 330]. «Война? — и прекрасно, — вяло сказал Тагильский. — Нужно нечто катастрофическое. Война или революция» [4, с. 351]. «Да, что-то будет, — подумал Самгин. — Война? Едва ли. Но лучше война. <...> Расширятся права Думы» [4, с. 331]. «— Да поди ты к чертям! — крикнул Дронов, вскочив на ноги. — Надоел... как гусь! Го-го-го... Воевать хотим — вот это преступление, да-а! Еще Извольский говорил Суворину в восьмом году, что нам необходима война все равно с кем, а теперь это убеждение большинства министров, монархистов и прочих... нигилистов» [4, с. 350]. «— Начнется война — они себя покажут! — хмуро говорил Дронов. — Почему ты уверен, что война неизбежна? — спросил Самгин, помолчав» [4, с. 358].

Возрастает и страх перед революцией: «— Германия становится социалистической страной. — Господи! Пронеси мимо нас горькую чашу сию» [4, с. 355].

Формируется мышление войной и нарастание мышления революцией, все это результат острейшего кризиса, что отчетливо осознавал наблюдательный Клим: «Он понимал, — пишет Горький, —

что надвигаются какие-то новые события. Для него имел значение тот факт, что празднование трехсотлетнего юбилея царствующей династии в столицах прошло более чем скромно, праздновала провинция, наиболее активная участница событий 1613 года — Ярославль, Кострома, Нижний Новгород. Но и в провинции праздновали натянуто, неохотно, ограничиваясь молебнами, парадами и подчиняясь террору монархических союзов “Русского народа” и “Михаила Архангела”» [4, с. 363]. «И, очевидно, будет война, которая, окончательно уничтожив царизм, заменит его республикой» [4, с. 363].

Однако, несмотря на тяжелые предчувствия катастрофы — в романе эта тема маркируется именем А. Блока, — война все еще не проникла в обыденную жизнь с ее будничными интересами. И наряду с мыслями о ней раздаются и такие голоса: «Господа! Жизнь становится дороже...» [4, с. 355].

В художественной системе горьковского романа в определенном смысле узловую роль играет, казалось бы, малозначительная сцена — пребывание Клима в ресторане «Вена» [4, с. 353–356]. Рассматриваемая в контексте других сцен, она в своем под- и надтексте — благодаря отрывкам фраз-маркеров, — содержит в себе и далекие отзвуки тех трех идейных установок в философской мысли — неославянофильской, неозападнической и марксистской, — и передает нарастающее беспокойство в обществе. И в этом особом аспекте сцена в ресторане «Вена» должна быть в дальнейшем проанализирована, ибо автор-нарратор акцентирует в романе то, как «берет верх» марксистская установка. К этому вел сам исторический сюжет. Вероятно, в этом причина, что в романе не уделяется особого внимания патриотическим настроениям, которые имели место. И в размышлениях о романе, невольно обращаясь к конфликтной ситуации XXI в., следует напомнить такую мысль: «... патриотизм, — пишет А. А. Ермичев, — принадлежит к числу субъект-объектных отношений. Именно поэтому он снова и снова возникал — и в СССР, и в русском зарубежье, и в постсоветской России. Ясно, что патриотизм — это жизнь в истине. Но кто знает истину?» [5, с. 189].

Сцена в «Вене» на метатекстовом уровне таила в себе и многоаспектность картин мира, не исключая катастрофические, и все реакции на неизбежность войны. Однако как ни предчувствовалась война, она пришла внезапно: «Огонь выстрелов в Сараеве, точно молния в темную ночь, на мгновение осветил грядущий путь. Стало ясно, что дан сигнал к распадению монархии», — так образно напишет в своих воспоминаниях бывший премьер австро-венгерской монархии Оттокар Чернин (1872–1932) [9, с. 48]. Чернин имел в виду Австро-Венгерскую монархию, но выстрел в Сараеве послужил сигналом к крушению и Российской империи. Казалось, что рушилось все, с чем не хотела мириться сама человеческая природа. И введение Горьким имен философов Ф. Ницше, Л. Шестова, Н. Бердяева можно оценить как отражение синергетических процессов в фило-

софском сознании человека, его стремление создать целостную картину. Но в реальной действительности, в отношениях между собой людей, классов, государств мир продолжал раскалываться, несмотря на попытки силой внушения и другими методами сохранить прежний порядок, в том числе и путем войны.

У пронизательного Горького воспроизведены многие состояния как отдельного человека, так и масс. Отзвуки этого состояния слышны в следующей сцене: «В стороне Исаакиевской площади ухала и выла медь военного оркестра, туда поспешно шагали группы людей <...> ...у Казанского собора толпился верноподданный народ, Самгин пошел к одной послушать... <...>

— Здра-ссите, — сказал Шемякин... <...> Вот вам война.

— Мне она не нужна, — сухо сказал Клима.

— Разве? Нет, я считаю войну очень своевременной, чрезвычайно полезной, — она индивидуализирует народ. <...>

— Война уничтожает сословные различия. — Люди недостаточно умны и героичны для того, чтобы мирно жить, но перед лицом врага должно вспыхнуть чувство дружбы, братства, сознание единства в игре с судьбой и для победы над нею. <...>

Из переулка, точно дым из трубы, быстро, одна за другой, выкатывались группы людей с иконами в руках, с портретами царя и царицы, наследника... <...>

...по булыжнику затопали рослые солдаты гвардии, сопровождая полковое знамя

— Ребята! Православному... христоролюбивому воинству — Ура! [4, с. 381].

Думается, что в этом ракурсе обратным чтением полезно перечитать незаконченный том горьковского романа и задуматься и над сценой убийства Клима Самгина: «Уйди! Уйди с дороги, таракан. И — эх, тар-ракан!» [4, с. 581].

Роман Горького, как известно, является его ретроспективным взглядом, однако само осмысление событий у него происходит через призму угрозы

новой войны, а восприятие романа XXI в. — через опыт Второй мировой и кризисные ситуации нынешнего дня.

Итак, размышления над рядоположенными романами двух великих писателей приводят к выводам, что не только их художественная сила, но и критическая и литературоведческая мысль о них — во всех ее созвучиях и противоречиях — сегодня с большей активностью входят в область необходимости философского осознания смысла самой жизни, мира и человека в нем. Речь идет не только о проявлении человека в его гениях, но и о каждом из миллионов прошедших по жизни людей.

Литература

1. Бахтин М. М. Формы времени хронотопа в романе. Очерки по исторической поэтике // Бахтин М. М. Литературно-критические статьи. М.: Художественная лит-ра, 1986. С. 121–260.
2. Белова И. Б. Первая мировая война и российская провинция: 1914 — февраль 1917 г.: по материалам Калужской и Орловской губерний. Автореферат ... канд. дис. Калуга, 2007. 26 с.
3. Воронин В. С. Философия истории и многозначная логика в последних романах М. Горького // Максим Горький: pro et contra. Современный дискурс. Антология. СПб.: Изд-во РХГА, 2018. С. 510–515.
4. Горький А. М. ПСС. Художественные произведения: в 25 т. М., 1968–1976. Т. 24. 591 с.
5. Ермичев А. А. Вопрос о патриотизме в русской мысли начала Первой мировой войны // Вестник РХГА. 2014. Т. 15. Вып. 4. С. 179–190.
6. Леонтьев К. О романах гр. Л. Н. Толстого. Анализ, стиль и веяние. М., 1911. 152 с.
7. Толстой Л. Война и мир // Толстой Л. Собр. соч.: в 20 т. М.: Художественная лит-ра, 1962.
8. Чаадаев П. Я. Апология сумасшедшего // <http://www.vehi.net/chaadaev/apologiya.html>
9. Чернин О. В. В дни мировой войны. Воспоминания бывшего австрийского министра иностранных дел М.; Пг.: Гиз, 1923. 292 с.
10. Шенин И. А. Отечественная война 1812 года: историографическое исследование. Автореферат ... докт. дис. М., 2002. 26 с.